

АЛЕКСАНДР МАЛИНОВСКИЙ

КРАСНОСАМАРСКИЕ РОДНИКИ

Путешествие в детство

1. Где же оно, поле?..

Подбил меня на наше неожиданное путешествие приехавший на лето из Москвы четырнадцатилетний мой внук Саша.

Слушая мои рассказы о сплаве на резиновой лодке от истока реки Самары до её устья, он загорелся:

– А давай махнём вдоль Самарки на велосипедах!

– Это ещё зачем?

– Испытаем мой новый велик!

– Там же бездорожье. Кругом всё заросло!

– Вот и хорошо! – воодушевился внук. – Пересечённая местность. Как раз то, что надо! Тут колесить вокруг дачки скупа...

И, не давая мне времени на раздумье, наступал:

– Вернёмся домой, отдохнём денёк и покатаем до села Богатое! Или дальше, к Бузулуку! Смотреть Бузулукский бор.

– Вдоль Самарки до Бузулука? – качал я головой. – Далековато!

У внука свои доводы:

– Я посмотрел по карте. Там асфальтовая дорога...

Я согласился на поездку до посёлка Красная Самарка. Внук, довольный, успокаивал:

– Разберём велосипед, положим в машину – и в Утёвку. Там переночуем, а с утра – в путь. Всего-то не более, как ты говоришь, пятнадцати километров. Доберёмся до моста под Крепостью, посмотрим родники. И обратно. Сам же говорил, что соскучился по ним.

“Действительно, – мысленно упрекал я себя. – В его возрасте от такого велосипеда и у меня бы дыхание перехватило. С каким удовольствием он поглаживает его чёрный руль! Как я в своё время шею резвого жеребчика”.

– Саша, куда? – когда рядом не было внука, тихо протестовала против нашей поездки жена. – Вспомни, как семь часов лежал под капельницей. Мыслимо ли? Не молодой уж...

– Мыслимо! – больше убеждая себя самого, отзывался я. – Одно дело – эта больничка, откуда вырвался, слава Богу, живым, другое – Самарка!

Через пару дней мы втиснули по частям разобранный велосипед внука в мою машину и отправились в село, в котором я родился и постоянно жил до восемнадцати лет – в Утёвку!..

Мы переночевали у моей сестры в Утёвке и рано утром выехали с заросшего травой двора через широкие жердяные ворота.

Решено было, заехав левее от села в Угол, точнее в Ясашный угол, подняться вдоль реки вверх до Крепости. Официально этот посёлок теперь называется Красная Самарка. Перебраться, если он ещё есть, по мосту на ту сторону реки. А там попить холодной водицы, насладиться родниковыми струями, бьющими из массивной кручи, уходящей вверх, к Бариновой горе, и вернуться к вечеру домой. Всего-то!

... Выехали на окраину села. И сразу оказались в Ясашном углу – пространстве между селом и речкой, разделённом надвое старым ветельником.

Ясашный угол! Я всегда любил это место. Со школьных лет знал, что до отмены крепостного права жители моего села, которому теперь поболее двухсот лет, относились к двум земельным обществам: Ясашному и Удельному. Удельные крестьяне платили все налоги князьям царствующей династии Романовых. А ясачные (в Утёвке говорят: ясашные) платили ясак государству. Вот этот ясашный люд и жил на краю села, примыкавшем к Самарке. В детстве здесь, на окраине сельской улицы, встречался я со знойным духом высокой золочёной пшеницы. Это было чудо! Песенное чудо! Широкий простор пшеничного поля, волновые приливы и отливы золотящейся нивы захватывали дух. В последние годы пшеничное поле было только слева от дороги и уходило бескрайне куда-то мимо села, на запад. Соединялось своей позолотой с небесной синью горизонта. Синее и золотое! Особенно волновало меня поле в пору созревания злаков, когда вдоволь солнечного света и властвует он над головой, проливаясь в волнисто-дремотное чудо...

Когда я был совсем мал, пшеница шумела и справа от дороги. Дорога шла по полю. И чтобы добраться до речки, надо было не менее версты пройти по этому чудесному уголку, где налитые колосья стояли вровень с твоими глазами. Забудешь ли такое!..

Едва мы, оставив мост и речушку Прыгалку справа, выскочили из села на простор, сердце сжалось. Где же оно, поле?

Не было золотящегося, волнующегося моря. Стоял поредевший ветельник справа, а слева вместо золотистого было серо-бурое пугающее пространство, заросшее всевозможными сорняками. Сорняк тут был как бы уже и не сорняк: полынь, берёзка, череда, репейник властвовали вокруг вольготно и безудержно. Становилось не по себе.

Озираясь, я машинально нажимал на педали. Дорога сама привела куда надо. Туда, где мы, ребята, купались, – к реке, на Искровскую купалку, обычно летом шумную и разноголосую. Теперь слева на подходе к купалке, на ровной площадке раскинулись ряды огромных теплиц. Я в замешательстве насчитал их двенадцать штук! Шесть рядов, по две длинных теплицы в каждом. Мы с внуком спешили, положили велосипеды сбочь от дороги на траву.

Теплицы стояли по левую сторону дороги, по правую была сторожка. Через песчаную дорогу от реки тянулась толстая тёмная труба – явно для полива.

Мы пошли в сторону теплиц. Всё исполнено было с широким размахом.

Помидоры в укрытии висели непривычно огромные для наших мест. Их было неестественно много, и кусты были в человеческий рост. Зелень и ярко-красные плоды напирали, ломились через полиэтиленовую плёнку наружу. В торцах теплиц, с обеих сторон, плёнка была приподнята, и там зелень и помидоры были ещё ярче и... вызывающими, что ли...

Потрогал одну помидорину. Она была тяжёлая и тугая, будто из чугуна. Внук последовал моему примеру. И тут же оценил.

– Во накачали! – удивился он.

– Что? – не сразу понял я.

– Помидоры химией накачали. Видно же, ненормальные. Кто их есть та-кие будет?.. Выперли!

Никого вокруг не было. Всё открыто, доступно. Так бывает у хозяина, который временно отлучился и который не опасается, что кто-то чего-то тут тронет. Как так? Он тут главный... Попробуй!.. Ощущение того, что этот "кто-то" очень уверенно, без оглядки, властно заполнил освободившееся, а вернее – бросовое поле, ранее звеневшее тугим пшеничным колосом, делало всю округу чужой, не похожей на прежнюю...

2. С подбитым крылом

Тут, где высокий обрыв и под ним пошумливает добравшийся сюда старым ветельником из широкой степи ручей, всегда было шумно от купающихся. Искровская купалка, знаменитая своей золотистой косой из мелкого сыпучего песка по правому берегу реки, всегда притягивала. Теперь песчаной косы почти не стало. Берег местами до воды зарос вездесущим осинником и многочисленными лопухами. С высокого берега река кажется уменьшенной, стиснутой берегами.

Когда спустились к воде, у коряжины поднялся рыбак. Обросший почти до глаз, как домовый... Но вроде знакомый... Машинально почти, занятый попыткой вспомнить, узнать, кто передо мной, спросил обычное в таких случаях:

– Клюёт?

– Какое тут клюёт?! Тарахтелку поставили как раз над моим прикормленным местом. Вона! – он указал на насос у самой воды и солидную трубу, уходящую через дорогу к теплицам.

– Как же так... Раньше тут по-другому было...

– А вот так! Мы забросили, а они – прибрали. Кто прав? – Стариковские глаза рыбачка смотрели понуро.

– Кто “они”? – не понял я.

– Китайцы, – последовал ответ, – кто ещё?

– А кто разрешил?

– Кто ж в наше время что разрешает... Это мы сами всё творим. Сами себя... Чё на них-то пенять?..

Мы перекинулись ещё несколькими фразами. Когда уже поднимался наверх, услышал:

– Сашк, ты, что ли?.. Я ж Жека Давыдов! Не признал?..

– Ты ж на северах всегда был? – удивился я, вглядываясь в рыбачка.

– Был, да теперь нету. Все мои тут померли. А дом остался. Ну, и решился...

Я спустился к нему. Неожиданно для себя спросил:

– Помнишь ли, какое здесь было море пшеницы? – и махнул рукой наверх.

– Эх! Помню ли?.. Забыл, Маляк, что отец мой тут обычно косил пшеницу? А я у него помощником комбайнёра работал...

“Он и прозвище моё школьное помнит! “Маляк”, надо же...” – подивился я.

Если бы он не назвался, я бы не разглядел в приземистом косматом туземце своего бывшего одноклассника, ушедшего после седьмого класса учиться в ремеслуху. Мыкавшегося всегда где-то на стороне в поисках лучшей доли. После школы больше не видел его. А тут – встреча на реке!

С Женькой мы сидели за одной партией в пятом классе, вместе рыбачили на Самарке. Прибегали пораньше, часа в четыре утра, чтобы никто не видел, проверить подпуска, поставленные накануне поздним вечером. Азартным был Женька и неутомимым в рыбалке. А уж в настырности не было равных...

На какой-то момент при этой встрече Женька приблизился так, что вязко пахло перегаром. И я увидел совсем близко его... кроличьи глаза.

– Сашк, это... ну, дай рублей пятьдесят. Знаешь... по старой дружбе, горит...

На миг растерявшись, я суетливо полез в рюкзак за кошельком...

Когда мы уходили от Давыдова, я всё оборачивался. А он стоял и смотрел на нас молча, похожий на дремучий пенёк у воды. Или большую нахохлившуюся птицу с подбитым крылом.

– Увидимся ещё, – крикнул я. И не почувствовал от своих слов облегчения.

3. Прививки на реке

Этот благодатный участок реки от Искровской купалки до моста под Крепостью в детстве был нашим вторым домом. В нём жизнь текла по-особому: и на глазах родителей, и без них. Самостоятельная! Здесь мы, ребята, и дружили, и ссорились. Рыбачили с ночевой. Добывали себе пропитание.

Поречье подкармливало нас. Дикий лук, щавель, дикая мука, ягоды боярышника, черёмуха, ежевика, смородина, вишня, земляника — всё это в свой срок появлялось на заветных солнечных полянах, влажных луговинах, в сумеречных овражных зарослях... Мы знали эти места наперечёт и совершали туда мальчишеские вояжи. Всегда ватажкой, часто с забавами и приключениями.

Трудились вместе с родителями постоянно. Но находили себе забавы и приключения, которые и теперь, во взрослой жизни, не стёрлись из памяти. Наоборот, приобретая со временем особую прелесть, они хранятся в глубине сознания. И порой напоминают о себе, как отблески костерка, неподвластного никаким ветрам.

Вот по этому берегу реки, от Исковской милой сердцу купалки, мы и решили добраться до моста под Крепостью, до посёлка, теперь называемого Красная Самарка. Чуть выше него на правом берегу и бьют Красносамарские родники.

Кто заражён с детства сладким недугом — рыбалкой, тот поймёт прелесть встречи с родной речкой. Множество случаев помнят её берега, водица её! Помнят тебя, когда, подгоняемый неистребимой рыбацкой страстью, нетерпеливо сползал ты по песчаной круче с удочкой в руке. Помнят и твоих сверстников, которые теперь седовласые и важные и редко приходят сюда. Не забыли берега и тех, увы, кого уж нет.

Многого не было в детстве у нас. А река давала своё. То, чего порой не найдёшь даже в незаменимых для села клубе или библиотеке. Она давала изначальное чувство Родины! Это я теперь так формулирую. Река давала прививку на всю жизнь. Прикинул невольно: из тех, кто самозабвенно тянулся к нашей реке в детстве, не припомнил ни одного дурного человека. Через всю жизнь, не созная того,если они этот изначально заложенный добрый свет своих истоков, запас доброты. Река и растила, и воспитывала. В детстве мы все были ближе к земле...

Всегда, едва заговоришь о Самарке нашего детства, — светлеют лица. Пробивается это неодолимо в любую погоду и в любое время года.

Сколько раз я в детстве ходил по этим берегам? Сотни! Тысячи! А вот так проехать на велосипеде, заранее зная, что придётся продираться через заросли, по бездорожью, наугад, — впервые. Было десять лет назад нечто похожее. Тогда я сплавлялся от истока Самарки до города Самары с приятелями. Двадцать два дня сплава на рыбацкой резиновой лодке — это неповторимое по ощущениям и впечатлениям событие! Тот маршрут был в пятьсот километров, теперь — около пятнадцати со всеми зигзагами...

4. На речке Ледянке

Глядя из-под руки на речную гладь, внук спрашивает:

— Дед, ты рассказывал, что раньше весной баржи за солью доходили от города Самары до Домашки, а мне как-то не верится. И потом: в остальное время года как соль возили в Самару?

— Как? Почти от самого Оренбурга, от Илецкой защиты, в Самару везли соль по солевому тракту на лошадях, а потом уж по Волге-матушке на Север — для всей империи Российской. Когда в 1880 году построили железную дорогу между Самарой и Оренбургом, соляной тракт забросили... И река Самарка осталась как бы в стороне...

На Ледянке, чуть пониже мыса, где небольшой чистый песчаный бережок, двое весёлых крепких парней: дядька Сергей и мой крёстный Василий Лобачёв — вздумали однажды учить меня плавать. Остро помню явное несоответствие, поразившее тогда меня. Только что по сельской улице, по гусиной травке, к реке со мной шли чинно, рядом: крёстный — в военной лётной форме (он только что приехал на побывку) — и родной дядька. Оба спокойные такие, уравновешенные...

Когда мы шли по затравешей, с гогочущими тяжеловесными гусями и пыхтящими утками улице, встречные смотрели на лётчика Василия во все глаза. И он приветливо улыбался. Теперь мне кажется, что он был тогда похож на Гагарина. И Юрий Гагарин потом, много позже, стал мне таким родным, может, от этой их похожести...

Всё было надёжно и спокойно. А тут вдруг эта их затея!

Я вырывался, улепётывал от них по сыпучему мелкому речному песку на безопасное расстояние. Но вновь оказывался в воде и в смятенном состоянии попадал под весёлую и бодрую их команду: “Плыви!” А дядька Сергей ещё добавлял совсем уж обидное: “Сухопутный пушкарь!..”

Барахтаясь, я пытался удержаться на плаву, сносимый быстрым течением искрящейся на солнце меж песчаных берегов быстрой Самарки. И на моё удивление – плыл! Да, плыл!

Выловив меня из воды, они тут же деловито вымеряли на мокром у воды песке, сколько я одолел. И вновь пукали меня в заплыл! Будто я – лодка. . .

Потом, отдуваясь, я сидел в тенёчке под бережно повешенным на рогульках из осинника лётным кителем крёстного. Здесь, в этом тенёчке, любуясь кителем, тогда я и решил, что непременно буду лётчиком! Как мой красивый крёстный Василий!

Это было в конце сороковых годов прошлого века. Кто тогда из сельских мальчишек не мечтал стать лётчиком или моряком?! . .

Мне было в ту пору около пяти лет. Думаю так, потому что потом, года через два, ещё до первого класса, уже свободно переплывая Самарку, однажды спас своего младшего приятеля Кольку Зимина. При общей суматохе несколько раз нырял и схватил его за мокрый расплывающийся чубчик. Вытащил и молча поплыл на тот берег, горделиво ценя умение глубоко нырять, да ещё и с открытыми глазами.

О Колькиной судьбе задумался много позже, когда спасённого мной Кольку убили. Нашего непревзойдённого, неутомимого и весёлого игрока в чушки не стало. Не в лихие перестроечные это случилось, много раньше – в семидесятые. Уже двое сыновей росло у него. Шустрый был очень. Подался на Север за длинными рублями. . .

На Ледянке всегда было веселее и праздничнее, чем где-либо. Никогда не замечал здесь летучих мышей – этих пугающих карликов-нетопырей. Днём сновали тут над головой, исчезали в своих песчаных береговых норах и вновь появлялись то быстрокрылые стрижи, то элегантные золотистые шурки. Всем хватало места.

Ни в детстве, ни потом не видел я стрижей сидящими. Ни на земле, ни у воды. . . Они всегда летают. Всегда в воздухе, в полёте, в заботе! На лету они ловили, кроме мелких насекомых, и влагу, ловко хватая клювиками дождевые капли.

Отдыхают ли когда-нибудь стрижи? Они как наши деревенские родители. . .

Замечательные тут соседи у стрижей – золотистые изящные шурки. И стрижи, и шурки на Ледянке живут и теперь по соседству в песчаных норах. Однажды из любопытства мы с ребятами раскопали одну нору шурков – она оказалась длиной более метра.

Лёгкие в полёте шурки – такие же трудяги, как и стрижи. Одна беда – поедают пчёл.

В отличие от стрижей, шурки часто садились на ветки у земли, на сухие верхушки деревьев. То тут, то там кричат они своё: пуль-пуль-пуль. Будто подзадоривая друг друга!

Как я был поражён, когда увидел в норе шурка остатки добычи: кроме пчёл, ос, шмелей, там были и крылья шершней. Шершней! От которых в знойный летний день шарахался в сторону огромный сельсоветовский мерин Карий. Ай да изящные шурки!

Здесь, на высоком обрыве, и небо просторней, и берег приветливей. Без горемычных осин. Ледянка – излюбленное наше место в детстве было и для забав, и для рыбалки. Каменистый, остро выдававшийся почти до середины реки, словно клюв большой гигантской птицы, мыс Ледянки живописен и неповторим. В сужении реки он создавал сильный, с картавыми воронками, поток воды. За ним вниз по течению образовалась большая и глубокая заводь – соминая яма. И слышно было в июне-июле, когда прогреется вода, как на заре здесь клохчут сомихи. . .

На Ледянке, на просторной поляне, ежегодно проводились маёвки. Народ прибывал на бортовых машинах с песнями, празднично одетый. Гремела музыка, позвякивали у торговых палаток ящики с лимонадом. Неподражаемый голос Людмилы Гурченко выводил над речным обрывом песенку про пять минут. . .

И едва замолкала эта песня, возникала другая:

*Ландыши, ландыши,
Светлого мая привет...*

Всё было так органично и свежо. Стоило только шагнуть несколько шагов в тенистую чащобу — и сразу можно было оказаться среди хрустально позывающих в такт песне притягательных ландышей и сиреневых элегантных колокольчиков.

На этих массовках пел и мой приятель Володя Горностаев. У него был бас! Все знали, что он — наша восходящая звезда! После окончания школы его обещали взять петь в Волжский народный хор. Об этом знали в школе все. Но суждено было иное: Володя поступил в военное училище — захотел стать офицером. И уже лет двадцать, как его не стало.

5. Пять порций мороженого

Мы с Игорем Красковым, как и Володька Горностаев, тоже участвовали в художественной самодеятельности. Но не пели. Были ведущими, конференсье на всех выступлениях в Доме культуры, всеми признанными. До тех пор, пока впервые не поехали в город Куйбышев (ныне Самара) на областной слёт школьной самодеятельности. Мы должны были вести выступление, представлять наш хор, танцевальные номера, солистов. В отличие от многих, мы не особо волновались — уже поднаторели в этом деле. Легко импровизировали, иногда сами удивляясь своей лихости. Игорь вообще мог говорить одними стихами. Все знали: не подведём!

И всё-таки... Подвели нас с Игорем мороженое и сушки.

Возвращаясь из столовой, которая была совсем рядом со студенческим общежитием, где нас разместили, мы нашли на дороге прибитый ветром ли, ногами ли прохожих к дощатому забору небольшой свёрток. Помню, как быстро среагировал Игорь:

— Сань, это же деньги! Гуляем! Идём есть мороженое! Вечером репетиции нет. Тут хватит на десять порций.

Своих денег у нас было всего ничего, а тут... Резво повернули в обратную от общежития сторону, к Волге. Мороженое нам подвернулось на набережной.

Игорь малость ошибся: нам хватило на пять порций мороженого каждому и ещё на две большие связки сушек.

Мороженого в селе у нас не было никогда, а сушки, если и появлялись, то очень редко. Как можно устоять против такого соблазна!

Мы явились в общежитие, пред ясны очи переположившейся из-за нашего долгого отсутствия пионервожатой Хохловой с сушками на шее.

— Где вы были? — металлическим голосом вскричала вожатая. — И что это? — она указала на связку, висевшую на длинной худой шее Игоря. У моего друга реакция всегда была неплохая:

— У вас ушки на макушке, а у нас на шее сушки! Ешьте, ребятушки!

И он клоунским жестом протянул рыжую связку подскочившим к нам ребятам. Все, смеясь, начали ломать и есть сушки.

На следующий день у нас обоих заболело горло и сели голоса. Мы хрипели, а не говорили. Вместо нас выступление вела строгая Хохлова. Было торжественно, но скучно. Не хватало всегда задорного, искрящегося на сцене Игоря. Призовое место мы не заняли.

Про приключение с мороженым узнала вся школа. Такой получился номер нашей с Игорем самодеятельности.

6. У Полоузного ключа

Полоузный ключ по весне от полой воды бурно оживал. А к середине лета он превращался в этом сумеречном месте в болото, или бучило, как говорил мой дед. Слабенький ручеёк, питаемый холодными родничками, вытекал из сумрака леса и, радуясь свету, встречался с Самаркой. У Полоузного ключа

ча всегда росли осины – громадные, с зелёной корой. А у самого обрыва стояли подружки осин – три ольхи. Вокруг заросли крапивы, в ней скрывались крупные ягоды смородины. Кусты и деревья увиты хмелем. Непролазная чащоба. Но мы через неё продирались. Там была у нас “тарзанка”. Была “тарзанка” и около озера Лопушного, на Лещёвом озере. Но здесь – самая классная.

Трос к наклонённой осине Колька Селезнёв привязал так, что он болтался другим своим концом над болотом. Чтобы “тарзануть”, трос сначала надо было подтянуть к себе длинной хворостиной. А уж потом, разбежавшись с ним по расчищенной площадке, махнуть на ту сторону болота. И разбежаться, и оттолкнуться надо было ловко и удачно. Иначе ты либо не долетал до крутого противоположного берега и повисал, ткнувшись ногами в обрывистую стену над чащей с тиной, либо пролетал мимо желаемого пятка земли – и, как маятник, болтаясь над вязкой тиной, ожидал помощи с берега.

Часть тех осин обнаружилась внезапно, на первый или второй день после того, как мы побывали в лесу. Их привезли и свалили огромными кучами около клуба. Лежали осины – совсем недавно ещё живые трепетные шепотуньи, а теперь – странно, мёртво мерцающая зелёными тушками, обречённые стать топливом. На одном совсем не толстом бревне я нашёл потёртое место. Похоже, это была верхушка того дерева, на котором крепилась наша “тарзанка”. Я не мог спокойно ходить в школу мимо этого кладбища осин – пробирался задуми: оттуда их было не видно. А вскоре около клуба заработали пилы, застучали топоры – и осин не стало. Все они, расчленённые на поленья, к моему удивлению, уместились в небольшом приземистом деревянном сарае – туда их сложили на зиму.

... Полоузный ключ! Его ещё надо было преодолеть с нашими велосипедами! Мы решили взять вправо от реки, где топи обычно не было, – там каждое лето после водополя соорудалась песчаная насыпь.

Вокруг нас и теперь был лес, но без могучих осин. Вязы да вездесущие клёны захватили жизненное пространство. Был и осинник. Но разве похож он был на прежний... Несравнимо! И этот непролазный кустарник...

Я положил велосипед на песчаную обочину и пошёл туда, где мы “тарзанили”. Старался не шуметь. Помнил, как мы однажды обнаружили здесь лежащего в застоялой, но всё ещё подpiraемой небольшими родничками холодной тине рогача. Лось пытался спрятаться в бучило от жары. Сейчас на болоте было тихо, сонно, душно. Дремотно и диковато смотрело на меня зелёным оком сузившееся, похожее на корытце болото. Я чувствовал себя чужеземцем в этой чащобе. Туча комаров так обрадовалась моему появлению, что я поспешил на свет, к внуку.

“Тарзанку” здесь вряд ли кто теперь соорудит”, – мысленно отметил я. И тут же добавилось: “И такой ребячьей ватаги, какая гомонила на нашей улице, теперь не соберёшь со всего села...”

7. Сын двух отцов

Следуя логике воспоминаний, я подошёл к моменту, когда в пору сказать о моём отце Станиславе.

... К Лопушному озеру, чуть правее Ледянки, по рассказам мамы, она с моим польским отцом приезжала несколько раз на корове, запряжённой в рыдванку, за дровами. Мама собирала сушняк, а отец, как говорила она (это меня в детстве особенно поразило), валил без топора и пилы сухой. Так был крепок мой отец!

Всегда я помнил и отмечал это место, освящённое некогда присутствием моего отца, от которого на все мои следующие пятьдесят с лишком лет не осталось ни малейшего материального признака бытия. Кроме меня самого...

И мы с дедом Иваном ездили к Лопушному за дровами. И каждый раз при приближении к Лушкиной поляне я чутко вздрагивал – призрачное присутствие моего отца в этой луговине лишало меня душевного равновесия.

Подобное случилось со мной, когда я учился уже на первом курсе института. Я обнаружил в Самаре (тогда Куйбышеве) небольшой особнячок на улице Чапаевской. На укреплённой на его стене табличке значилось, что в 1941–43 годах в нём находилось посольство Республики Польша в СССР.

Первые дни после такого моего открытия я был сам не свой, несколько раз безотчётно приходил к этому дому. Здесь должен был бывать и мой отец – ведь он же оформлял какие-то документы, состоял на учёте, призывался в Войско Польское. Он был здесь! Этот дом, эти холодные жёлтые стены видели его... Он смотрел на них. Говорил что-то здесь. Смеялся. Мама говорила, что он был красивый и весёлый. Тогда, в эти дни, я пылко дал себе слово, что буду искать отца всю жизнь! Пока не найду! А если он погиб, попытаюсь как можно больше узнать о нём.

Сведений об отце было совсем мало: всего лишь имя и год рождения. Мама знала, что он варшавянин. Брак их не был зарегистрирован. Он – иностранец. Она – русская. К моменту, когда мой отец Станислав появился в Утёвке, от первого мужа мамы, Василия, призванного на службу в 1938 году, не было с фронта писем много месяцев. Комиссовавшиеся искалеченные однополчане Василий мотали головами, не веря собственному возвращению. По их словам, Василий Шадрин погиб при разгроме армии Власова.

Мама и Станислав, попавший в Россию вместе с отступавшими польскими войсками, стали жить в доме моего деда одной общей семьёй. И жили, пока не пришла его очередь. Призванный в Войско Польское в конце сорок третьего, он пропал без вести.

А рядовой Василий Шадрин вернулся после плена в 1946 году. Когда вернулся, стал мне отцом, и фамилию мне менять не стали.

Об этом я кратко писал в одной из своих первых повестей “Под открытым небом”, поменяв фамилию Малиновский на Ковальский. Мне тогда так мало было известно о моём польском отце...

По молодости я недооценил сложности поставленной перед собой задачи: найти отца. Я обращался письменно и устно куда только мог, и у нас, и за границей. У меня было очень мало сведений. Все поиски были безуспешны. Активно работая на нефтехимическом производстве и в науке, я до 2000 года побывал за границей по долгу службы более двух десятков раз. И всегда, где только было можно, пытался наводить хоть какие-то справки. Во Франции, США, Швейцарии, Германии были обнадёживающие знакомства с поляками, но увы... Последнее моё обращение было у нас – в адрес популярной телепередачи “Жди меня”, которую вёл Игорь Кваша. Не сработало...

Я уже было начал готовиться к поездке в Польшу, намереваясь методично, посещая костёлы в Варшаве и её окрестностях, попробовать отыскать хотя бы какие-нибудь записи. Одновременно помнил о гигантском, чудовищном разрушении немцами Варшавы. И костёлов в том числе. Но всё же... Это было похоже на намерение искать иголку в стог сена. А что мне оставалось делать?..

Помог случай.

Франтишек – польский инженер, учёный – вот кто свершил то, что не получалось более чем сорок лет у меня. Мой теперешний польский друг Франтишек оказался тогда, в 2004 году, участником научной конференции, проходившей на теплоходе, следовавшем по маршруту “Самара – Астрахань”. Моя дочь Юлия – одна из участниц этой конференции, узнав, что на пароходе будут трое учёных-поляков, взяла у меня на авось скудные сведения об отце, отпечатанные на одной страничке. Франтишек пообещал начать поиски.

И вот через два месяца после конференции держу с трепетом в руках присланную по электронной почте выписку из Центрального Войскового архива Польши: “Станислав Малиновский, сын Михайла, 1919 года рождения. Призван в Войско Польское во 2-й артиллерийский полк девятого сентября 1943 года. Служил до 19 ноября 1945 г<ода>. Звание: капрал. Национальность: поляк”. Всё в выписке разнесено по графам, с армейской чёткостью. В графе “Адрес постоянного проживания до ухода в армию” значится: “Куйбышевская обл., село Утёвка, ул. Центральная”. Всё сходилась! В графе “Семейное положение” с трепетом читаю: “Женат. Жена: Малиновская Катерина”. Всё так! Только имя мамы моей далёкий писарь несколько переименовал. Вместо русского “Катерина” записал латиницей “Катарина”. Это при том, что отец с мамой не были расписаны. Когда Станислава призвали в Войско Польское, она была беременна мной на четвёртом месяце. Оказалось, что Станислав участвовал в освобождении своего родного города – Варшавы, где проживали его мать, отец, старший брат. Уволен был в запас капрал Малиновский по ранению.

Вот тут-то, как рассказывал позже о своих поисках Франтишек, после увольнения следы отца затерялись. И тогда Франтишек, понимая, что возраст моего отца преклонный, методично, как я намеревался искать когда-то записи о рождении в костёлах, стал искать имя моего отца в списках захоронений на кладбищах.

Он нашёл могилу моего отца на старинном Брудновском кладбище. Рядом покоится вторая жена Станислава – Барбара. Чуть поодаль – младшая дочь Юола. Здравствующая ныне старшая дочь (моя сестра по отцу) Ханна рассказывала мне, что женитьба отца проходила, как ей говорили, скромно. Без белого платья невесты. И без венчания в костёле.

В середине августа 2005-го я, моя жена Лариса и мой внук Саша уже были в Варшаве. Я всегда, с самого раннего детства, представлял себе отца Станислава красивым, крепким и ладным – так выходило по рассказам моей мамы и бабушки Груни. Бабушка Груня первой сказала мне, что мой отец поляк, когда я спросил, почему у меня такая непохожая на утёвские фамилия.

И теперь не могу сказать, было ли педагогической ошибкой то, что она мне сказала? Или только так и должно быть... Но понимаю теперь ясно, что с того дня, когда я это узнал, по-иному стал глядеть на многое, что окружало меня: и обычно, как раньше, и как бы со стороны...

Глядя на отца Василия, получившего увечья на фронте, на его мужественное преодоление и нездоровья, и нужды, я всячески помогал ему. А где-то в глубине сознания сверкало: там, далеко, у меня ещё один отец есть, красивый и сильный! И мне ничего от него не надо. Нам не надо! Пусть хотя бы он живёт – красивым и сильным! Хоть ему повезло! В то, что он жив, всегда верил. А раз жив, то уж в Варшаве-то жизнь не должна быть такой тяжёлой, как наша... в Утёвке.

На кладбище Ханна рассказала мне, что в 1968 году, когда отцу Станиславу не было и 50 лет, около дома на автобусной остановке его сбили трое пьяных на автомобиле. Был суд. У отца оказались множественные переломы обеих ног. Около года он пробыл в больнице. В одну ногу ему ниже бедра вставили металлический стержень, на другую наложили двенадцать скоб. Ходить он стал только с костылём. Жена Барбара с горя заболела и вскоре умерла. Капрал Малиновский, прошедший почти пол-Европы два раза, туда и обратно, освобождавший Варшаву, получил увечье около своего дома. И прожил инвалидом 31 год.

Когда я это узнал, встали, как живые, перед глазами на костылях оба моих отца: русский и польский. И не сдержался я: там, у могилы отца, впервые за последние лет сорок внезапно заплакал. На глазах у женщин и у внука.

8. Руки матери, молитвы её...

Мама для меня всегда живая. Она была такой.

Я вижу её руки. Сколько они выдержали в жизни! Сколько переносили одних только вёдер с водой из колодца! Чтобы была вода в избе, чтобы напоить нас, напоить скотину... Мы все помогали родителям. Но столько было всяких забот...

В летнюю пору она вставала в четвёртом часу утра: надо было подоить и выгнать в стадо нашу корову-корову. И с этой рани дотемна, пока не вернётся корова во двор, пока она её не подоит, не угомонит всех нас, четверых ребятишек, хлопотала она по дому. А потом, когда мы подросли, стала работать ещё и уборщицей в клубе.

Руки мамы. Руки, отяжелённые непосильной, изнурительной работой. Они были у неё несоразмерно большими при её малом росте. Она и носила руки свои как бы отдельно от себя: чуть вывернув локти в стороны, отчего кисти рук висели ладонями назад, как у штангиста-тяжелоатлета.

И при этом она была такой весёлой! Часто смеялась. В облике её так много было светлого. Моя маленькая мама походила на большую птицу... Так порой в ней проглядывало голубиное... И этот её говор! Щебечущий, уютный. Мы, дети, редко когда слышали от неё окрик... Нам всегда хотелось ей помочь...

Когда она ложилась отдохнуть, то клала руки свои, как большие инструменты или механизмы, вдолгу туловища. И они отдыхали как бы сами по себе, отдельно от неё.

Руки у неё, как она говорила, часто “гудели”. От напряжения. Тогда мама ими мерно помахивала, не поднимая выше пояса. Успокаивала их так. Или готовила к новой работе...

Здесь, напротив Полоузного ключа, мама, не умеющая плавать, перешла вброд Самарку и перенесла меня через реку на руках, словно на крыльях, гонимая бедой. И в военное лихолетье от горя в неиспелелимой материнской вере и надежде на моё прозрение в Мало-Малышевском храме Святого Архангела Михаила окрестила меня.

И тогда, на мамином обратном пути в Утёвку, оказался как бы случайно калика-старичок, подсказавший, как лечить меня от слепоты – страшного недуга, оставшегося после кори. И она, многое уже перепробовав – от заговоров до настоев из голубинового помёта, – начала лечить меня заново. Настоем дождевых червей смазывала каждый день мои глаза... Наступили холода, земля замёрзла, и дядька Сергей стал добывать червей в погребах. И на удивление врачей, тех, которые из сельской больницы выписали (читай: вы проводили в своём бессилии) меня незрячим, я постепенно стал видеть.

Мама просветлённо и скупко рассказывала о том, как произошло моё выздоровление в тот раз. Будто опасалась расплескать, не сберечь в себе тихую радость и благодарность за данную ей благодать.

...В один из сенокосов, когда косили сено за Самаркой, у Малой Малышевки, я увязался за дедом. Во мне вспыхнуло неодолимое желание увидеть, как мама говорила, кипенно-белоснежный храм с колокольной в честь Святого Архангела Михаила. Долго ждал, когда мы с дедом поедем косить в Моховое – местечко, недалекое от Малой Малышевки...

Михайловский храм, в отличие от многострадального храма Святой Троицы в моей Утёвке, никогда со времени его постройки в 1836 году не закрывался для прихожан, оглашая округу радостным для души звоном. Разве что в 1884 году, когда он перестраивался. Тогда, как я знаю, его изнутри обшили оцинкованными листами. Церковь, мне об этом рассказывал дед, пытались потом в лихие годы не раз поджечь, но металлическая обшивка её спасала. Эти подробности узнал я уже много позже, став взрослым. А знала ли мама тогда, явившись со мной на руках перед ликом Архангела Михаила, главы святого воинства ангелов, стоящих на страже Божьего Закона, что она одна из многих тысяч, кто обращался к нему с просьбой об исцелении? Знала ли, когда молила за меня, незрячего, что Михаил Архангел почитается победителем злых духов, которые в христианстве считаются источником всех болезней, что он прославлен своими чудесами по всей Руси! И ему посвящено множество монастырей, соборных, дворцовых и посадских храмов? Возможно, и не знала, оставшись одна со своей бедой. Но преодолевая нелёгкие эти пятнадцать километров, несла в себе великую материнскую веру в поддержку Ангела Божия. С верой и надеждой пришла она в храм! Молилась в окружении “афонских икон” – списков со святых образов, выполненных в иконописных мастерских русского Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне и принесённых паломниками, побывавшими там на богомолье. Знаю: в храме есть копия иконы Табынской Божьей Матери! Иконы чудотворной, крестный ход с которой, по преданию, остановил в 1848 году эпидемию холеры в самом Табынске, а потом в почти вымершем тогда Оренбурге. Крестный ход с иконой Табынской Божьей Матери был самым продолжительным по времени и расстоянию в России!

“Разве могла я в своих молитвах оказаться не услышанной?.. А уж там как Богу угодно...” – эти слова мамы я до сих пор помню.

9. Кувалда прогресса

Совсем ещё недавно, лет пять назад, ректор нашего университета, двигая меня к чтению лекций по экологии, убеждённо говорил:

– Мы кабинетные люди, а вы с производства. Притом с крестьянскими корнями. Практик! Вот побольше и давайте вместе с академическими знаниями практических примеров из жизни. Что они видели? Ребятам всего по двадцать лет! Делитесь опытом жизни – вот увидите, они это ценят. Вспомните себя студентом! Экологизация мышления, экологизация образования и воспитания нужна! И экологизация технологий – вот что всех нас может спа-

сти! Экология – синтез всех наук, взятый на вооружение во имя спасения человечества! Вот где выход! А мы всё шаманим, спекулируя вокруг да около... Не боремся за природу, а только делаем вид! “Будить в человеке человека” – когда ещё сказано!

И я решил не “шаманить”!

За лето просмотрев более полутора десятков учебников, пособий, статей в научных журналах и в периодике, подготовил положенные семнадцать необходимых студентам лекций.

Даже написал одну сверж того, под названием “Искусство – среда обитания”. Дал душе отдохнуть на стихотворениях наших классиков, связанных так или иначе с природой.

Как я мог начать говорить в аудитории не с Фёдора Ивановича Тютчева?

*Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...*

...И пока писал лекции, всплыл в памяти уже забытый давнишний-предавнишний страшный случай, свидетелем которого я оказался в детстве, пятьдесят пять лет назад.

Тогда, помню, пришло время Манаковым резать быка. Отец послал меня отнести им тяжеленную кувалду – Захар Манаков просил. Я поволок свой страшный груз, пребывая в смятении от его предназначения, которое ему предстояло исполнить во дворе Манаковых.

...Приготовления были просты, и я их едва уловил. Наискосок по двору мелькнула жена Захара – молчаливая тётка Ганя, оставив около изгороди большое корыто, а чуть позже – ещё и таз с тёплой водой. Неопределённо махнув рукой, удалился со двора хозяин. Захар не мог смотреть, как забивают любую животину, а тут – бык-полуторник.

Похрустывая свежим ноябрьским снежком, в подшитых резиной серых валенках, в жёлтой добротной фуфайке (у нас в селе таких ни у кого не было, видать, армейская) дядя Ваня Слепушкин короткими крепкими руками прикинул на вес кувалду и удовлетворённо мотнул головой. Вершил он своё дело немногословно и сосредоточенно. Катался, как приземистый бочонок, по двору. Во дворе остались только дядя Ваня, пришедший с ним его порывистый сын Матвей да я – любопытствующий. Для меня такое событие было впервые.

Матвей вынул большой крепкий нож и держал его в руках.

– Воткни тесак в соху, – кратко сказал Слепушкин-старший. Матвей по своему быстро исполнил команду, вложив нож между двумя продольными рейками, скрепляющими штакетины.

...Быка вывели и привязали к сохе. Матвей встал рядом, притворно ласково поглаживая рогатую голову жертвы. Бык, настороженно пятясь, начал валить шаткий штакетник. Когда Слепушкин замахнулся кувалдой, я зажмурился...

– Нож, где нож? – услышал я голос Слепушкина.

Я раскрыл глаза и увидел, как он нашаривает провалившийся меж штакети тесак...

И глаз быка увидел – залитый кровью, с остановившимся взглядом...

...Заваливаясь на бок, животина несколько раз судорожно ударила копытом о мёрзлую землю, а потом утихла.

Остро запахло калом.

И тут случилось самое страшное. То ли дядька Иван намеревался отодвинуть тазик, то ли он поскользнулся, но, неосторожно приблизившись к возвышающейся, казалось, бездыханной туше, он попал под сильнейший удар, нанесённый последним судорожным движением задней левой ноги быка. Удар пришёлся в пах.

Слепушкин скончался, не приходя в сознание...

Так много прошло времени с той поры, а случай этот не забылся. И видится он мне теперь в несколько других красках, нежели в детстве. В более жёстких и трагических. Хотя вроде бы должен был я огрубеть за свою долгую жизнь.

Мы так давно уже усердно бьём по природе кувалдой! А она, хоть и усталая, истерзанная, потерявшая былую силушку, былую устойчивость в ногах,

скосив на нас налитый гневом и предсмертной тоской взгляд, не шарахнет ли напоследок в пах или куда ещё? Как в случае с Иваном Слепушкиным. Мало не покажется...

10. Калачики

Пожары тогда вспыхивали часто. В середине нашего села стояла около Приказного озера высокая деревянная пожарная каланча. Внизу её пожарная команда с конным выездом несла постоянно службу. Иногда нам позволяли подниматься на вышку. Но не всякому. Пожары тушили всем миром. Хозяин каждого двора знал, с каким необходимым предметом для тушения (топором, вилами, ведром) он должен был бежать на общую беду. Висели на домах специальные таблички с изображением таких необходимых предметов.

Дом Францевых стоял на невезучем месте. Не в ряду домов – на отшибе, сразу за нашими задами, перед самой гатью. На эту гать чего только не выбрасывали!

Мы жили уже не так голодно, как совсем недавно. Отцу вместо второй группы инвалидности дали первую, связав его увечье с участием в войне. Прибавили пенсию. Это случилось после смерти Сталина. Я это хорошо помню. Была уже теперь у нас на столе не только мелкая картошка в мундире и затируха.

С Ванькой Францевым мы учились вместе в четвёртом классе. У Францевых всегда нечего было есть – шаром покати. Отец умер год назад, мать болела.

... Беда случилась под утро. Потушить загоревшийся Ванькин дом не успели. Всё, что не саманное, сгорело. Ванька с матерью перебрались жить к полоумной, как её звали у нас, Паше-дурочке.

Паша-дурочка жила в мазанке на краю села. Когда мы, ребяташки, шли к реке, то всегда озирались, торопились поскорее прошмыгнуть мимо её мазанки. Было страшновато: то ли дурочка, то ли колдунья, кто её знает...

– Там никак Ванька в золе ковыряется? – спросила мама.

– Да.

– Сходи, позови его поесть, голодный, чать...

Когда мы вошли с другом в наш дом, Ванька деловито осмотрелся, будто был у нас впервые.

– Хорошая изба, – глядя под конёк на соломенную крышу, сказал он задумчиво. – Хоть и без потолка, зато просторная. Вот у тёти Поли Юрьевой – совсем маленькая. И пол земляной, глиной обмазанный. Позвала меня. “На, – говорит, – куртку Юркину, а то вырос и уехал. Тебе сгодится. Только смотри, чтоб мать не продала”.

Он говорил и говорил, Ванька, словно его что-то подталкивало к этому:

– Наша изба была тёплая, у неё и потолок, и пол были деревянные. А в сарае ласточки жили. Ласточата сгорели.

Мама стояла около затопленной голландки и задумчиво так смотрела на него.

– Мам, а мы будем есть? – спросил я.

– А что вам сделать? Калачики или рваньцы?

Меня удивил её вопрос. Вчера ещё у нас не было муки, а тут калачики! Вся последнюю неделю мы ели, и то не каждый день, картошку. Иногда с постным маслом...

Мама посмотрела на меня и улыбнулась.

– Калачики подольше делать, чем рваньцы. Но вы поможете?

Мы оба подтвердили, что готовы помогать. Рваньцы мама готовила так: брала кусок теста, отрывала маленькие шматочки от него и бросала в кипяток. Затируху она делала, растирая тесто в мелкие-мелкие затирки. И тоже бросала в чугунок с кипятком.

Мама варила рваньцы, калачи, затируху, если не было никакой начинки: щавеля, лука, вороняжки, картошки...

Мама всё умела делать быстро! И ходить, и говорить, и работать. “Самолёт”, – говорили про неё, улыбаясь. Она нарезала кусочками теста, а мы из них скатывали жгуты толщиной с мизинец. Соединил оба конца такого жгута в колечко – и готов калачик! Конечно, калачики хорошо есть с молоком. Но у нас коровы нет теперь. Как её держать?

Отец снова, как мама говорила, “угодил” в военный госпиталь. У него туберкулёз костей, и долго он дома не бывает, чаще лечится. Даже когда мой младший брат Петька родился, он не приехал. Не отпустили. Куда такого? Вся левая нога в гипсе, а на поясе корсет из толстой кожи с железными пластинами.

Мама вылавливает нам большой деревянной ложкой из чугунка в наши миски калачики. Каждому по пять штук! Ванька сильно и деловито дует. Он вообще всё сейчас делает деловито и собранно. Независимый такой.

“Погорельцы, погорельцы, — сказал он на днях. — Все нас жалеют вокруг, а сами же нас подождли. То ли золу с непотухшими углями не донесли до гати, то ли папироску кто бросил. Если б я знал, кто это сделал!..”

— Больно ты боевой, — говорит мама. — Не надо так на всех, это нехорошо. Кто-то один виноват.

Ванька будто не слышит её слов.

— Мы с мамкой в Ташкент уезжаем. Что тут делать? А там у неё тётка!

Не успел я удивиться такой новости, как Ванька произнёс:

— Вот наемся там селёдки. До отвала!

— А разве есть там, в Ташкенте, селёдка? — сомневаюсь я.

— Ещё какая! Её там ешь — не хочу! Море!

— Какое же море в Ташкенте? — покачивая головой, с грустной улыбкой говорит мама.

— Не море там, а море селёдки! — уверенно поясняет Ванька.

Мама больше не возражает. А я верю своему другу. Безоговорочно. Ванька у нас в классе “книгочей первостатейный”, — так про него говорит наша учительница Любовь Николаевна. Все знают, что он её любимчик. Мы уже к этому привыкли. Когда на чистописании учительница сердится, она начинает хватать тетрадки и бросать их с криком себе на стол или ещё куда. У Ваньки она ни разу тетрадь не схватила. Ни разу на него не закричала. Видно же, что он коряво пишет. Зато всегда больше всех обо всём знает. Не говоря уж об уроках. В классе мы зовём его “голова”.

Я смотрю на Ваньку и радуюсь, что у меня есть такой друг.

— Не только мне, и вам надо попробовать ташкентской селёдки, — убеждает Ванька. И продолжает: — Селёдка — это что?! У меня есть мечта! Пока не скажу, какая! В Утёвке про неё смешно говорить. А вот там, в Ташкенте...

Ни письма, ни посылки с селёдкой от Ваньки Францева из Ташкента не пришло.

Поначалу, в детские годы, я всё думал: что-нибудь да будет! Нельзя же так, как в воду... На следующее лето ласточки поселились в нашей сельнице. Мне так тогда хотелось, чтобы об этом узнал Ванька. Но написать было некуда.

И стал я верить, наивный, взял в голову, что объявится Францев. Прогрешит Ванька на всю страну как учёный! Не зря же все отмечали, что он “голова”... Да и он говорил про какую-то свою мечту...

Так никто и не осмелился после пожара построить дом недалеко от гати, на наших задах. Место, где стояла когда-то саманная изба Ваньки, заросло высоченной полынью. И мало кто теперь у нас в селе помнит эту странную фамилию — Францевы.

11. Неожиданная встреча

... Мы приближались с внуком к самому дремучему месту на левом берегу Самарки — к Урёме. Урёма — так я когда-то переназвал Кунаев ключ, который впадает весной в Самару на правом берегу, напротив. Там летом в овраге, заросшем ежевикой и смородиной, всегда пасмурно и жутковато. Эта его дремучесть как бы перекочевала на противоположный берег, в старый скрипучий ветельник. Вместе с его названием.

— Живёшь в своей Москве между кирпичных глыб. Много ли там увидишь? А тут лесная нетронутость. Порой необходимо одиночество, чтоб остаться один на один с природой... — так я говорил внуку, когда мы под горку съезжали в лесной полумрак.

Всего метров сто предстояло проехать нам под таинственным навесом деревьев, где впервые с дедом Иваном увидел я лося, а потом услышал странный голос неизвестной мне птицы. Прежде думал, что это скрипит какое-то

кривое и сухое дерево. Или едет кто-то за кустами на поскрипывающей несмазанными колёсами телеге. Оказалось, что так кричит птица дергач.

...Мы едва не столкнулись с ними. Они выскочили на середину дороги из-под навеса старинных вётел и вязов, прямо нам навстречу. Мы еле успели уклониться в разные стороны узкой дороги. Колючие ветки шиповника и боярышника остро царапнули по одежде, по рукам.

– Ничего себе! – обескураженно вырвалось у внука. – Лихо!

Вот тебе и Урёма! Никого нет?!..

Китайцы, их было трое, на юрком мотороллере с тележкой бодро проскочили мимо нас. На подъёме у них там что-то произошло. Они соскочили на землю и в своих тёмно-синих одинаковых комбинезонах начали дружно возиться около жёлтенького притихшего чуда техники. На нас они не обращали никакого внимания, будто мы были в параллельных мирах.

– Это, наверное, те, что с теплицами... Разведку ведут, – высказал предположение внук.

– Возможно, – отозвался я уныло. В который уже раз усмехнувшись по поводу своей академичности преподавателя. Не я ли, проповедуя на лекциях студентам плодотворность сохранения традиции, опору на опыт и мудрость своих предков, ставил китайцев в пример. И в помощники себе брал их великого мудреца Конфуция:

“Если у тебя есть телега – сожги её, есть лодка – проруби в ней дыру... Ты должен сидеть на месте, слушать пение своих петухов, лай своих собак и растить своё поле...”

Пришло время, и сами же китайцы опровергают своей жизнью древних своих мудрецов. Что делать?..

В тот раз мы с внуком никого больше в Урёме не обнаружили... Всё будто попряталось от посторонних глаз. Чернолесье в Урёме стояло молчаливо-настороженное, затаившееся... Будто чувствовало чужаков...

Мы подъезжали к мосту. Справа, где-то совсем рядом, хоронилась Зимняя старица.

12. Сенокос

Это был первый мой сенокос с отцом у Зимней старицы. У отца после туберкулёза костей не гнулась в колене левая нога и срослись позвонки в пояснице. Ездить ему было нельзя. Ходил он медленно.

Чтобы нам косить у Зимней старицы, он вышел в тот день рано утром и пошёл пешком. Часа через два я выехал на велосипеде. Нагнал я его у ближнего конца озера.

Я понимал, какой необычный у отца сегодня день. Впервые за последние пять или шесть лет, которые он провёл в военном госпитале, взяться за косьбу!..

Отец настроил дома себе косу на особицу. Она была насажена под таким углом, чтобы можно было косить с прямой спиной. Он и мне приготовил косу особенную – облегчённую. Окосиво у неё – из тальника, и сама вся лёгкая, с коротким полотном.

Мама, наблюдая за приготовлениями отца, украдкой вздыхала. И была непривычно молчалива.

...И вот мы на месте нашего сенокоса.

У самой Зимней старицы травостой попеременно с тальником, разнежившись, непроходимым заслоном перекрыл подходы к воде. Трава, не знакомая мне, не такая, как на красноталовой солнечной поляне: нет неподатливого пырея, не видно злого чертополоха – густая и тучная зелёная масса. Июньское тепло и приозёрная влага свершили своё дело.

...Но и здесь видны знакомые лица: меж кустов красуются кремевые метёлки таволги, чуть в сторонке забрёл в траву и остановился высокий мятлик. Всё окружающее было как бы в полусонной истоме: едва шевелит листочки свои сероватный осинник, стоят великанши-вётлы в три обхвата, за ними – сизоватая полоска озера. В тени вётел меж кустов нежатся в дрёме шёлковистые, выше пояса, травы.

Празднично взглянув на меня, отец принялся готовить косу. За ним и я.

В завадинке зашумели, захлопали крыльями кряковые утки. Я инстинктивно пригнулся, забыв, что не на охоте, без ружья.

Такого сенокоса у меня ещё не было.

Чётким, незабытым движением поймал отец пятку косы подмышку,uscoил её. Взялся левой рукой за самый кончик полотна, а правой полоснул по стали жёлтоватым, стёртым наполовину, ещё довоенным брусом.

Сбочив голову, отец прислушался... Вновь махнул правой рукой... И пошёл! Пошёл гулять по поляне чистый, тонкий звук ожившей стали. Новое вязовое окосиво, схваченное сыромятным ремнём, ядрёно растопырившись, нетерпеливо ждало крепкой руки хозяина.

Я, радостно дёрнувшись, достал свой новенький, не трогавший ещё жгучее лезвие своими жесткими щеками серый брусок.

Отпыхиваясь от комаров, отец шагнул в траву. Вначале короткими взмахами пробил себе маленькую площадочку, и уж на ней, встав, как приноровился загодя во дворе дома, сделал первый настоящий замах.

Всего несколько махов понадобилось отцу, чтобы он нащупал нужный ритм. Вначале отец учился косить как бы заново. Но уже на втором ряду он двигался, как отлаженный механизм. Левую негнувшуюся ногу он подволакивал за собой – она была словно подпорка, а правой, нащупывая путь вперёд, мелкими шажками совершал поступательные движения.

Я раньше не видел, чтобы так косили. Но как уверенно отец двигался! С остановками, с переступами, но неуклонно вперёд!

Как дружно ложилась высокая трава под его жёсткими взмахами! Влажная трава, если не брать помногу, поддавалась легко и мне. Мешали кусты. Коса, ныряя в гущину, тянула за собой валок за валком.

Отец, почувствовав мой взгляд, остановился. Обернулся. И я увидел, как сосредоточенное лицо его озарила радостная улыбка.

– А ты как, Сашок, думал?! Ядрёна кочерыжка! Всё идёт, как я и планировал. Я улыбался в ответ.

У отца столько разных непривычных слов. И всегда он вовремя что-нибудь да скажет по-своему...

Отцу нравилось, как всё ладно получается.

– Не пропадём теперь, – лицо его непривычно светилось.

Он ещё напористей стал наступать на высокую траву, раздвигая покосиво. Я следовал за ним. Звенели надоедливые комары. На Старице пошумливали вшивки и лысухи, порой подавали голос кряквы. А мы запойно косили!

И тут появился лесник. Он остановил свой мотоцикл у дороги наверху. И окликнул:

– Фёдрыч! Ты, что ли?

– Точно, он, – отозвался отец.

И остановившись, досадливо взглянул на человека в форменном пиджаке с дубовыми листочками в петлицах.

– А ты, – человек с листочками в петлицах махнул рукой в мою сторону, – обожди! Отдохни покамест... Не части.

Я пошёл к ветле, где стоял бидончик с разведённым родниковой водой кислым молоком, искоса наблюдая за обоими.

Отец, опираясь на черенок косы, медленно пошёл к дороге.

“Зачем он взял с собой косу, – недобро подумалось мне, – просто вместо бадика?”

Настороженно обошёл дерево и увидел их обоих вновь.

Они стояли поодаль от мотоцикла и о чём-то говорили. Слышно было, как лесник довольно рассмеялся.

Коса мирно висела на сучке сухого вяза рядом с форменной фуражкой лесника.

Когда, гроза всего местного люда, лесной начальник уехал, отец вернулся к нашему стану. Не спеша напился из белого бидончика. Прислонился спиной к огромному дереву. Над непокрытой головой его, над мокрой рубашкой звенело комарье.

– Чё, пап, он? – спросил я как можно небрежней. – Весёлый вроде такой.

Глядя задумчиво поверх моей головы в синюю глубь неба, отец ответил, как мне показалось, до обидного спокойно и... обречённо:

– Голос у него соловьиный, да рыло свиное. Сказал, чтобы я пришёл пособлять, отработать два дня...

– За что? – вырвалось у меня. – Ведь мы косим по кустам. Там, куда никто не ползет?!

– За что? За самовольство. Куда деваться? Земля-то кругом либо колхозная, либо лесничества. Ему для пособу семерых мало.

Я подавленно молчал.

– Схожу, – скорее, как показалось, успокаивая меня, чем себя, произнёс отец. – Куда деваться... Ядох*...

...Взяв косы, мы пошли в сторону валков.

– Что нос повесил? – обронил отец. – Весна придёт, не надо будет коро-ву за хвост поднимать! Что ещё надо?! Голова! Сенокос-то какой!..

Остановившись у самого тальника, отец произносит:

– Сашок, придётся наверх траву выносить. В кустах она долго не высохнет. Темнотица.

Я понимаю, о чём он думает: он таскать траву не сможет – и так еле ходит.

– Перетаскаем, – говорю я как можно беспечней, – раз уж взялись!

– То-то и оно, – откликается в своей обычной манере отец, – раз уж взялись...

13. Охранная грамота

На Крепостном мосту между утёвскими и крепостными ребятишками иногда возникали потасовки, но так, без особых последствий.

А сейчас мне вспомнился случай, когда в разборку вовлечены были взрослые. Дело было не на мосту, а на нашей утёвской улице.

В тот февральский метельный вечер я вышел из клуба, где только что шла репетиция отрывков из комедии “Горе от ума”, и направился домой. Около столовой, которая была совсем рядом с клубом, заметил стайку ребятни из Тягаловки – дальней нашей улицы, которая всегда славилась своими бедовыми обитателями.

У коновязи, меж лошадьми и санями, волной прошлись они... и быстро схлынули. Подались косячком в Зубарев переулочок. Нетрудно было догадаться, что они срезали поперечники или, по-другому, чересседельники – ремни, стягивающие оглобли на седёлке в конной упряжи. Эти ремни, будучи разрезанными вдоль на несколько более узких, хороши были для крепления коньков к валенкам. Коньков на ботинках тогда ни у кого в селе не было – их никто из нас даже не видел.

Много чего по глупости было сделано в детстве, особенно в азартной компании, но никогда я не резал поперечники и не одобрял тех, кто позволял себе это делать. И тому была причина.

Мой дед Иван шорничал: готовил хомуты, седёлки, подпруги, уздечки и всякую другую сбрую. Кроме того, он потихоньку – тогда это запрещалось – выделял овчины. К нему в дом часто приезжали мужики из соседних деревень – привозили шкуры для выделки. Он был нужен многим.

Я видел, знал, какого труда стоило изготовление сбруи. И потом, поперечник в конской сбруе, как ремень у штанов: далеко без него не ускачешь. А мужики, оставлявшие свои подводы у коновязи возле столовой, часто приезжали из дальних сёл.

Нужды резать чужие поперечники у меня не было: мой дед из всякой кожаной обрести всегда мог выделить мне ремни на коньки.

...Я едва миновал столовую, когда из неё вывалились трое подвыпивших, разгорячённых парней и направились к своим повозкам.

Понимая остроту момента – что сейчас они обнаружат пропажу поперечников и начнут искать злоумышленников, – я невольно ускорил шаг, намереваясь скрыться в переулке – там стоял дом моего деда. Я, кажется, сделал ошибку: не тут-то было – это только парней подстегнуло. В спину мне понеслось:

– Вон он! Врёшь – не уйдёшь!..

Я разом оказался в окружении.

– Верни ремни! – прозвучал грозный окрик одного из них.

– Я ничего не брал, – отвечая так, я попятился к забору, но тут один из них сзади крепко толкнул меня в спину. Я, стараясь не упасть, размахивая ру-

* Ядох – законник, дока (здесь – насмешливо).

ками, отлетел в сторону окликнувшего меня парня в бараньей шапке. Поймав меня кнутовищем поперёк груди, он резко отшвырнул тут же назад.

— Куда ты их выкинул, говори! Зверёныш!..

Они стали швырять меня от одного к другому, как мячик. Шапка моя отлетела в сторону. Я понимал, что всё это может кончиться для меня плохо. Но что я мог сделать? Тот, кто был в бараньей светлой шапке, два раза хлестнул меня кнутом. На мне была плотная стёганая отцовская фуфайка. Было не больно, но... Я испугался за лицо. Только что я играл пылкого Чацкого, жил на сцене. Нет, не на сцене — в большом московском доме, жил иной жизнью, далёкой и завораживающей. Там звучала непривычная музыка фраз, миллионом терзаний мучился бескорыстный Чацкий. Бился против лжи! Руководительница нашего драмкружка шумливо прямо на сцене хвалила меня, утверждая, что я будущий народный артист СССР. Не менее. А тут?

“А что, если он высекнет кнутом мне глаз, как случилось в пьяной драке между Васькой Забаштой и Минькой Коршуновым? Какой из меня тогда артист, с изуродованным-то лицом?..” — пронеслась в голове мысль.

Парень широко замахнулся. Я выкинул полусогнутую в локте левую руку вперёд, надеясь успеть перехватить конец ременного кнута перед лицом. И тут прозвучало хрипло и властно:

— Погодь чуток!..

Передо мной в сумраке, в метельной снежной пыли вырос кряжистый человек в тулупе. Он был намного старше остальных, в руках у него был кнут с толстым таким кнутовищем.

— Верни ремни, — сказал он голосом Лазаря Баукина, которого играл в фильме “Жестокость” Борис Андреев. Он произнёс слово “ремни” с ударением на первый слог. У нас так не говорили в селе. Мне такое произношение показалось диким, и весь облик этого человека — первобытным.

— Стёпка, сбегай, посмотри, где он шёл. Может, втоптал их в снег. А вы двое не дайте ему убежать.

Один из парней послушно метнулся в сторону.

— Ты воображаешь, что нам ещё до Крепости надо добираться? Без поперечников!

— Понимаю, — ответил я. — Но я их не резал.

— А кто? Говори!

— Не знаю.

— Как не знаешь? Ты же здесь шёл только что?

— Шёл. И что с того?

— А то! — рявкнул “Баукин”.

И тут я произнёс совсем произвольно слова, которые только что говорил на сцене: “Длитель споры не моё желанье”*. Как я ещё не сложил при этом театрально руки на груди?!

Он странно посмотрел на меня и задал вопрос, который враз всё изменил:

— Чево? Ты чей такой будешь?

И я произвольно, сам не зная почему, ответил:

— Рябцев.

Назвал не свою фамилию — Малиновский, а фамилию моего деда. Что могла ему такому сказать моя совсем не здешняя фамилия?

— Ивана Дмитриевича внук?! Не зря я подумал, что где-то тебя видел. Похож...

Он подошёл ко мне совсем близко. Из-под мохнатой шапки на меня смотрели дикие и умные глаза матёрого волка в человеческом облике.

— Верно говоришь, что внук его?

— Внук, — подтвердил я, почему-то смелея и чувствуя подобие доверия к этому человеку. — А они, — я мотнул рукой на стоявших рядом налётчиков, — дураки! Все, что ли, такие в вашей Крепости? Горе от отсутствия ума?

Это вылетело у меня безотчётно. И не успел я подумать о возможной реакции на слово “дураки” и остальное, как прозвучал его зычный голос:

— Отпустите его. Он не мог резать поперечники.

Парни расступились, а я всё ещё стоял на месте.

— Ничего нигде нет! Ни поперечников, ни ножа! — объявил, вернувшись, парень, которого называли Стёпкой.

* Слова Чацкого из комедии “Горе от ума”.

– Пошли к лошадям, – повелительно произнёс тот, который был старшим. – Там мерекать будем...

И первый тяжёлой походкой, широченный в своём огромном бараньем тулупе с большущим воротником, зашагал в сторону столовой. Ремённый кнут волочился за ним по снегу...

Оставшись один, я нашёл свою шапку, втопанную в снег, и направился туда, куда мне было надо: в дом к моему деду, имя которого для меня, его внука, стало охранной грамотой...

* * *

Пора заканчивать мои сентиментальные записки о нашем с внуком неожиданном путешествии! Он и в это лето приехал к нам и агитирует меня повторить нашу прошлогоднюю вылазку на велосипедах, но удлинить маршрут до самого Бузулука, как он задумал ещё прошлым летом. Что ж, можно...

Вот только с болячками разберусь...